

**ДМИТРИЙ
ВОДЕННИКОВ**

НЕБЕСНАЯ ЛИСА



Санкт-Петербург

* * *

Когда бы я как Тютчев жил на свете
и был бы гениальней всех и злей —
о! как бы я летел, держа в кармане
Стромынку, «Винстон», кукиш и репей.

О как бы я берег своих последних
друзей, врагов, старушек, мертвецов
(они б с чужими разными глазами
лежали бы плашмя в моем кармане),
дома, трамваи, тушки воробьев.

А если б все они мне надоели,
я б вывернул карманы, и тогда
они б вертелись в воздухе, летели:
все книжки, все варьянты стихтворений,
которые родиться не успели
(но даже их не пожалею я).

Но почему ж тогда себя так жалко-жалко
и стыдно, что при всех, средь бела дня,
однажды над Стромынкой и над парком,
как воробья, репейник и скакалку,
Ты из кармана вытряхнешь — меня.

* * *

О кто бы мог еще глядеть
такими бедными овечьими глазами
на это прорастающее пламя,
на пастуха, идущего стеречь,
на гобелен с овечками и небесами.

Течь в голове у голубой овцы,
а волк не видит синий и зеленый,
но за версту он чует сладкий, красный,
ведь у овцы не только огурцы,
не только синий василек беззлобный —
есть у овцы под маской и внутри
сладко-бордовый помидор огромный.

Она глотает воздух, воду, луг,
и в животе они лежат слоями,
но адское не потухает пламя,
и вот, как беженка, овца глядит вокруг
и видит пастуха, лазоревых подруг.
Что делать ей? Со лживыми глазами
она их лижет мукою своей
и слизывает, словно карамель.

Ах, тварь какая! Нет, она не тварь.
Она растет, как праздничная сдоба,
она, пушистая, вдруг зацветает вербой,
в ее глазах безумие, не злоба.
Хотела быть прозрачной и смиренной,
но не хотела: красной и съедобной,
и ты ее за это не ударь.

Она к тому ж не ест уже, не пьет,
зато чадит вокруг себя миазмы,
и первой тут зазеленела травка.
Но что же делать? — Рядом волк цветет,
он — жук навозный, он ревнив, как шавка,
он красные не забывает язвы —
она очнется — он ее сожрет.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ (ТРАМВАЙ ПЕРВЫЙ)

*Не может быть, чтоб ты такой была:
лгала, жила, под топодем ходила,
весь сахар съела, папу не любила
(теперь — и как зовут меня — забыла),
зато, как молодая, умерла.*

*Но если вдруг — все про меня узнала?
(Хотя чего там — углядеть в могиле —
да и вообще: всё про могилы лгут,
то, что в пальто, не может сыпать пылью,
ботинки ноги мертвому не жмут.)*

Баранов, Долин, я, Шагабутдинов,
когда мы все когда-нибудь умрем,
давайте соберемся и поедем,
мои товарищи, ужасные соседи
(но только если всех туда возьмем),
в трамвайчике веселом, голубом.

Сперва помедленней, потом быстреей, быстреей
(о мой трамвай, мой вечный Холидэй) —
и мимо школы, булочной, детсада —
трамвай, которого мне очень надо, —
трамвай, медведь, голубка, воробей.

Уж я-то думал, я не упаду,
но падаю, краснея на лету,
в густой трамвай, который всех страшнее
(но зелень пусть бежит еще быстрее,
она от туч сиреневых в цвету,
она от жалости еще темнее) —
и мимо праздника и мимо Холидэя
(теперь о нем и думать не могу)
летит трамвай, свалившийся во тьму.

Хотя б меня спаси, я лучше быть хочу
(но почему я так не закричу?),
а впереди — уже Преображенка.
Я жить смогу, я смерти не терплю,
зачем же мне лететь в цветную тьму
с товарищами разного оттенка,
которых я не знал и не люблю.
Но мимо магазина, мимо центра
летит трамвай, вспорхнувший в пустоту.

Так неужель и ты такой была:
звала меня и трусостью поила,
всех предавала, всех подруг сгубила,
но, как и я, краснея, умерла.

Но если так, но если может быть
(а так со мной не могут пошутить),
моих любовников обратно мне верни
(они игрушечные, но они мои, мои!)
и через зелень, пыльную опять
(раз этих книжек мне не написать), —
с ВДНХ — подбрось над головой —
трамвай мой страшный, красный, голубой... 9

* * *

Ах, жадный, жаркий грех, как лев, меня терзает.
О! матушка! как моль, мою он скушал шубку,
а нынче вот что, кулинар, удумал:
он мой живот лепной, как пирожок изюмом,
безумьем медленным и сладким набивает
и утрамбовывает пальцем не на шутку.

О матушка! где матушка моя?

Отец мне говорит: Данила, собирайся,
поедем на базар, там льва степного возят,
он жаркий, жадный лев, его глаза сверкают, —
я знаю, папа, как они сверкают, —
я вытрясаю кофту в огороде:
вся кофта съедена, как мех весной у зайца,
я сам как заяц в сладком половодье.

О матушка! где матушка моя?

А ночью слышу я, зовут меня: Данила,
ни меда, ни изюма мне не жалко,
зачем ты льва прогнал и моль убил, Данила? —
так источается густой, горячий голос.

Я отвечаю: мне совсем не жарко,
я пирожок твой с яблочным повидлом.
А утром говорит отец: «Пойдем в Макдоналдс».

О матушка! где матушка моя?

Намедни сон сошел: солдат рогатых рота,
и льва свирепого из клетки выпускают,
он приближается рычащими прыжками,
он будто в классики зловещие играет,
но чудеса! — он, как теленок, кроток:
он тычется в меня, я пасть его толкаю
смешными, беззащитными руками,
глаза его как желтые цветочки,
и ослепляет огненная грива.

Но глухо матушка кричит из мягкой бочки:
«Скорей проснись, очнись скорей, Данила».
И я с откусанным мизинцем просыпаюсь.

ТРАМВАЙ ВТОРОЙ

Баранов, Долин, я, Шагабутдинов,
когда мы все когда-нибудь умрем —
мы это не узнаем, не поймем
(ведь умирать так стыдно, так обидно),
зато, как зайчики, ужасные соседи,
мы на трамвае золотом поедем.

Сперва помедленней, потом быстрее, быстрее
(о мой трамвай, мой вечный Холидэй) —
и мимо школы, булочной, детсада —
трамвай, которого мне очень надо, —
трамвай, медведь, голубка, воробей.

Уж я-то думал, я не упаду,
но падаю, краснея на лету,
в густой трамвай, который всех страшнее,
а он, как спичка чиркнув на мосту,
несется, заведенный, в пустоту
(куда и заглянуть теперь не смею),
с конфеткой красной, потной на борту.

Но вот еще, что я еще хочу
(хоть это никогда не закричу) —

а позади уже бежит Стромынка:
обидно мне, что, падая во тьму,
я ничего с собою не возьму —
ни синяка, ни сдобы, ни ботинка,
ни Знаменку, ни рынок, ни Москву.

А я люблю Москву — и вот, шатабиду,
я прямо с Пушки в небеса уйду,
с ВДНХ помашет мне Масловский.
Но мой трамвай, он выше всех летит,
а мне все жаль товарищей моих,
и воробьих, и воробьев московских.

Ах, если бы и мне ты тоже мог бы дать
на час — музеи все, все шарики отдать,
все праздники, всех белых медведей —
все, что бывает у других людей
и что в один стишок не затолкать
(ведь даже мне всей правды не сказать), —

тогда, ах если бы (иначе я боюсь),
тогда Барановым и Долиным клянусь:
что без музеев (из последних сил
я в них всегда, как сирота, ходил),
без этих шариков, которые всегда
от нас не улетали никуда —
без них без всех — я упаду во тьму
и никого с собой — не утяну.

* * *

Ты не забудь меня, козел рогатый,
а то кусал, терзал, осою жалил
и вдруг исчез, исчадьё басурманье, —
теперь я даже в шашки не играю,
мне только снятся грубые солдаты
да львы пузатые — и я во сне рыжею.
Но кадыки их, твердые как камни,
и темно-пышные смеющиеся шеи —
я это видел все уже когда-то.

Засим оставь меня, лукавая Аксинья,
и ты оставь, прекрасная Анисья,
чего ищу в апреле этом синем,
зачем рассыпал я цыплячий бисер,
какую муку алчу я — не знаю.
Мне только снится: я бегу по пашне
и как весенняя лисица лаю.
Ни видик мне не нужен ваш, ни сникерс,
ни шахматы мне не нужны, ни шашки,
а нужно мне опять тебя увидеть.

Я говорю: опять тебя увидеть,
а сам бегу в чумном, охряном мехе —

от смеха у солдат блестят доспехи,
они на жар и жало не в обиде.

Но есть один среди них — глаза как незабудки,
а сам он как дитя в зверином легионе,
и жилка синяя стучит на впалой грудке,
он тоже жаленный (я это сразу понял).

Он смотрит на меня и говорит, что видит:
Тебе к лицу хвост этот длинный, лисий,
но — говорит — зачем сюда летаешь?
Смотрел бы лучше разноцветный видик,
кусал бы лучше многовкусный сникерс,
играл бы в шашки, шахматы. И, знаешь,
такая мука здесь. Вернись к Анисье.

А мне — он говорит — в апреле этом синем
невмочь без львов и без холмов набухлых,
но и без крыл невмочь, сверкающих, как бритвы;
когда-то был я центром этой битвы,
и вдруг меня оставили, как куклу.
Теперь я здесь. Я не вернусь к Аксинье.

«А ты живи», — сказал и к льву уходит, слабый;
а я лисицею бегу по черной пашне,
и синяя во мне стрекочет жилка,
я тоже не вернусь, во мне синее жало,
я вижу: лев его терзает пылко,
лев с ним заводит бешеные шашни,
залить змею поможет только пытка.
Я это все уже увидел раньше.

* * *

*Не страсть страшна, небытие — кошмар.
Мне стыдно, Айзенберг, самим собою быть.
Вот эту кофту мне подельник постирал,
а мог бы тоже, между прочим, жить.*

Я быть собою больше не могу:
отдай мне этот воробьиный рай,
трамвай в Сокольниках, мой детский ад отдай
(а если не отдашь — то украду).

Я сам — где одуванчики присели,
где школьники меня хотят убить —
учитывая эту зелень, зелень,
я столько раз был лучше и честнее,
а столько раз счастливей мог бы быть.

Но вот теперь — за май и шарик голубой,
что крутится, вертится, словно больной,
за эту роскошную, пылкую, свежую пыль,
за то, что я никого не любил,
за то, что баб Тату и маму топчу, —
я никому ничего не прощу.

Я все наврал — я только хуже был,
и то, что шариком игрался голубым,

и парк Сокольники, и Язуз мою,
которую боюсь, а не люблю, —
не пощади и мне не отдавай
(весь этот воробьиный, страшный рай).
Но пощади — кого-нибудь из них,
таких доверчивых, желанных, заводных.
Но видишь ли, взамен такой растрате
я мало что могу тебе отдать.

Не дай взамен — жить в сумасшедшем доме,
не напиши тюрьмы мне на ладони.
Я очень славы и любви хочу.
Так пусть не будет славы и любви,
а только одуванчики в крови.

О Господи, когда ж я отцвету,
когда я в свитере взбесившемся увяну —
так неужель и впрямь я лучше стану,
как воробей смирившийся в грозу?
Но если — кто-нибудь — всю эту ложь разрушит
и жизнь ползет, как она была
(как ночью лезут перья из подушек),
каким же легким и дырявым стану я,
каким раздавленным, огромным, безоружным.

* * *

Сам себе я ад и рай, и волк, и заяц черный.
Не пестро ли этим синим глазкам?
«Не пестро, — он говорит, — не больно,
не больно, — скромный говорит, — и не думай».
Сам же вертится, как черт белокурый,
так и я вертелся, когда под Пасху
поселиться во мне пришли лисица,
петух и кот, кот и петух, кот и лисица.
Уж и гнули они меня, и лапами били сухими,
но зато теперь никто меня не покинет.

Ни петух, ни кот, ни заяц, ни волк нетленный,
ни петух, ни кот, ни лиса Андревна.

Ах ты, лисонька-лиса, глупая морда,
ах ты, петушок, вандербас, веселая тушка,
ах ты, волк-щелкун, ах ты, заяц ушлый,
ах ты, кот-певун, дюже умный, гордый —
были вы мне женою, сестрою и мужем.

Ой ли, ай ли! — пошел я кофий пить
в своем безумье,
и вдруг котопей Гога исчез, загордясь грудью,